

УДК 82.091

DOI: 10.17223/19986645/49/7

П.В. Алексеев

«КИТАЙСКОЕ» ВСТУПЛЕНИЕ К «ДНЕВНИКУ ПИСАТЕЛЯ» Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

В статье исследуются китайские мотивы во «Вступлении» к «Дневнику писателя» Ф.М. Достоевского (1873) с позиций имагологии, определяются их функции и место в творчестве писателя. Обращение к китайской теме у Достоевского не было случайным, оно напрямую связано с концептосферой русского ориентализма – стиля мышления, основанного на воображаемом разделении мира на Запад и Восток в дискурсе имперских практик России. В этой связи анализируются ориенталистские концепты «тирания», «насилие», «восточный человек», определяющие основные параметры изобретения образа Китая Достоевским. Прослеживаются интертекстуальные и типологические взаимосвязи с рассказом «Записки сумасшедшего» (1834) Н.В. Гоголя. Ключевые слова: Достоевский, «Дневник писателя», Китай, русский ориентализм, имперский дискурс, Гоголь, «Записки сумасшедшего».

С января 1873 по март 1874 г. Ф.М. Достоевский редактировал еженедельный журнал «Гражданин», издававшийся на средства князя В.П. Мещерского и имевший репутацию консервативного, монархического и националистического. Решение выступить в новой роли, которое уже в феврале 1873 г. в письме М.П. Погодину Достоевский назовет «большим сумасбродством» [1. Т. 29, ч. 1. С. 264], имело серьезные последствия как для самого писателя, так и для истории русской литературы. Работа в редакции «Гражданина» обогатила Достоевского издательским опытом, но главное – дала возможность быстрой связи с читателями, что было особенно важно по получении разгромных отзывов на роман «Бесы» (подробно этот вопрос изложен в статье О.В. Захаровой [2]): писатель остро переживал, что главные мысли романа, обращенные к актуальнейшим вопросам общественно-политической жизни империи, не были поняты совсем или были поняты превратно. Поэтому не только большая материальная нужда, но и стремление прямо сформулировать свою общественно-политическую позицию по важным для него темам подтолкнули писателя к тому, что он взялся за выполнение редакторской роли. Появление в первом же номере журнала, подготовленного Достоевским, рубрики «Дневник писателя» (далее – ДП) – явное стремление сформировать необходимое для этого пространство трибуны и диалога на перекрестке художественной и публицистической традиций. Единство, а не параллелизм художественного и публицистического начал, как считалось ранее [3. С. 58], в ДП – исходная позиция, объясняющая многие его особенности.

Проект ДП оказался вполне жизнеспособным и вне «Гражданина» – в 1876, 1877, 1880 и 1881 гг. он выходил в формате отдельного издания – уникального для того времени моножурнала, совмещающая в своей структуре не только злободневную публицистику, но и художественные произведения малых прозаических жанров – явная реализация замысла «Записной книги»

1864–1865 гг. [4. С. 312]. Открытость поэтики Достоевского к прямому диалогу с читателем связана с феноменом ее полифоничности: по словам М.М. Бахтина, «всюду его мысль пробирается через лабиринт голосов, полуголосов, чужих слов, чужих жестов. Он нигде не доказывает своих положений на материале других отвлеченных положений, не сочетает мыслей по предметному принципу, но сопоставляет установки и среди них строит свою установку» [5. Т. 2. С. 67]. «Дневник писателя» на сегодняшний день остается одним из самых интересных объектов исследования творческой лаборатории Достоевского, особенно в свете новых методов и подходов к изучению имперского и ориентального в национальной словесности.

Такой подход позволяет обратить внимание на те элементы ДП, которые ранее могли казаться случайными и бессистемными, например, китайские мотивы во «Вступлении» к первой публикации этой рубрики в 1873 г. Китайские мотивы в ДП в этом отношении мало исследованы: монографические труды отсутствуют, и все, от чего можно оттолкнуться в изучении этой темы, – это короткие примечания в тридцатитомном собрании сочинений и редкие попытки интерпретации в статьях, не посвященных непосредственно «Дневнику писателя» (обзор основных исследований, а также попытка постановки имагологической проблемы «Достоевский и Китай» была предпринята в нашей статье [6]). Дополнительным и важным подспорьем для решения этой проблемы видится книга известного китаиста А.В. Лукина, посвященная образам Китая в русской словесности XVII–XX вв. На разнообразном художественном материале он реконструирует эволюцию образа Китая в России, упоминая вкратце и китайские мотивы во «Вступлении» к «Дневнику писателя» за 1873 г. Но несмотря на некоторые верные замечания, касающиеся стереотипности китайских образов, в целом его выводы в отношении Достоевского не вполне корректны: во-первых, А.В. Лукин считает первую публикацию ДП идеологически близкой либеральным кругам: «...идея превращения России в новый, застойный Китай здесь близка аналогичным мыслям А.И. Герцена, Д.С. Мережковского и других» [7. С. 151]; во-вторых, делается предположение, что случайная статья «Московских ведомостей» спровоцировала «писателя на сатирическое описание воображаемой поездки в компании с В.П. Мещерским в воображаемое китайское Главное управление по делам печати» [Там же. С. 150]. На деле все гораздо сложнее: бюрократический Китай у Достоевского – амбивалентный ориенталистский образ, сочетающий в своей структуре не только отрицательные, но и положительные коннотации, а случайная статья о бракосочетании китайского императора никак не объясняет столь масштабное ориентальное вступление в журнальную рубрику, не предназначенную для обсуждения внешнеполитических событий.

Для того чтобы приступить к целостному решению этих вопросов, необходимо признать, что «китайское» начало ДП являлось системным проявлением художественного мышления Достоевского, в структуре которого значительное место занимали элементы русского ориентализма. Русский ориентализм – это не столько увлеченность восточными темами и не стилистические приемы их изображения, сколько, прежде всего, тип художественного мышления, возникший в контексте имперских колониальных практик Западной

Европы и России и основанный на специфическом философско-поэтическом представлении о мире, воображаемо разделенном на Россию, Запад и Восток [8. С. 5]. Для подобных представлений в XIX в. особенно характерна связь ориентальных образов с проблематикой русской национальной идентичности в имперском дискурсе, что мы и наблюдаем с первых страниц ДП.

Вступление в ДП имело вполне конкретные цели – самопрезентацию Достоевского в качестве редактора «Гражданина» и представление невиданной до того момента рубрики, в которой известный писатель будет «говорить сам с собой и для собственного удовольствия, в форме этого дневника, а там что бы ни вышло» [1. Т. 21. С. 7]. Объявление нового редактора и экспериментальной рубрики должны были спровоцировать читательский интерес к изданию, которое нельзя было назвать ни передовым, ни преуспевающим, и к редактору-романисту, который не «исписался» и не разочаровался в своем творчестве от яростной критики демократического авангарда, а просто перешел в другой формат. Это событие необходимо было подать как нечто особенное, но не выводящее Достоевского из литературного круга, поэтому нарочитая литературность и самоирония были весьма кстати:

Двадцатого декабря я узнал, что уже всё решено и что я редактор «Гражданина». Это чрезвычайное событие, то есть чрезвычайное для меня (я нико-го не хочу обижать), произошло, однако, довольно просто. Двадцатого декабря я как раз читал статью «Московских ведомостей» о бракосочетании китайского императора; она оставила во мне сильное впечатление. Это великолепное и, по-видимому, весьма сложное событие произошло тоже удивительно просто: всё оно было предусмотрено и определено еще за тысячу лет, до последней подробности, почти в двухстах томах церемоний. Сравнив громадность китайского события с моим назначением в редакторы, я вдруг почувствовал неблагодарность к отечественным установлениям, несмотря на то, что меня так легко утвердили, и подумал, что нам, то есть мне и князю Мещерскому, в Китае было бы несравненно выгоднее, чем здесь, издавать «Гражданина» [Там же. С. 5].

Параллель между восточным монархом и русским писателем – не просто игра слов, вызванная чтением новостной статьи. За комическим сравнением двух «эпохальных» событий стоит ряд значимых смыслов, вкладываемых Достоевским в понятия «китайское» и «ориентальное». Этот ряд смыслов и помогает понять, почему из всех ориентальных пространств, известных писателю, образ Цинской империи послужил наиболее удобным литературно-публицистическим приемом для разговора о творчестве, журналистике и уровне читательского и гражданского самосознания в России. Рассмотрим подробнее, какие компоненты этого образа были наиболее значимы для Достоевского в декабре 1872 – январе 1873 г.

Прежде всего, в этот период Китай из далекой экзотической страны, до которой трудно добраться, превратился в арену экономических и политических интересов крупных европейских держав и России [9, 10, 11]. Этот регион особенно заинтересовал российскую общественность во второй половине 1860-х – начале 1870-х гг. в связи с активизацией среднеазиатского и дальне-

восточного направлений имперской внешней политики. После второй опиумной войны империя, управляемая династией Цин, была чрезвычайно ослаблена, и это создавало благоприятные возможности для того, чтобы в противовес англичанам и французам осуществить своего рода реванш на Востоке после Крымской войны. Проведение выгодной для России демаркации границы по Амуру в 1860 г. и вторжение российских войск в Синьцзян после дунганского восстания 1864 г. – яркие свидетельства активизации дальневосточного направления царской политики. Эти и многие другие события, освещавшиеся в прессе и обсуждавшиеся в самых разных общественных кругах, привели к тому, что в русском общественном сознании возникло еще одно мощное мифогенное пространство западно-восточной дихотомии, в котором типологические черты западного и восточного активно использовались для определения границ русской и европейской идентичности.

Идентичность разнообразных народов Востока мало интересовала как либеральную, так и монархическую прессу, но формирующийся национальный образ Китая выступил важной точкой несогласия. Как справедливо заметил Чж. Сунь, такие официозные издания, как «Московские ведомости», «Новое время», «Русский вестник», «Гражданин» и др., «не хотели упустить китайского рынка, крайне боясь пробужденного не Россией, а Западом Китая», поэтому «большинство из них предпочитало неподвижный Китай динамичной и агрессивной Японии», либеральная же пресса клеймила деспотическую восточную страну, в подтексте подразумевая и российское самодержавие [12. С. 9]. В этой связи интересен не столько выбор Достоевским темы Китая, сколько характер его изображения – с одной стороны, он мало соответствует демократическим взглядам, с другой стороны, продолжает эксплуатировать самый общий стереотип застойного «китайского уклада», сформулированный еще в записных книжках 1860–1862 гг., – «есть, жиреть и в карты играть» [1. Т. 20. С. 195], вполне пригодный для критических рассуждений об отечественном образе жизни.

«Русский вестник» и «Московские ведомости», которые в эти годы редактировал М.Н. Катков, входили в круг обязательного чтения Достоевского, и именно из них писатель часто пополнял свои знания не только о российских и международных событиях, но также и об интересах Российской империи на Востоке с позиции правящих кругов. Примечательно, что в 1871 г. влияние монархических журналов на Достоевского высмеял Д.Д. Минаев, предложив рассматривать роман «Бесы» как иллюстрацию «к передовым статьям “Московских Ведомостей” <...> переданным в форме диалогов и приправленным нервно-болезненным анализом» [13. С. 58]. Таким образом, статья о бракосочетании императора Тунчжи обратила на себя внимание писателя не столько в плане книжного экзотизма, сколько в плане идейных устремлений круга М.Н. Каткова, В.П. Мещерского, В.В. Григорьева и др. Особенно важно отметить, что с ориенталистом Григорьевым, занявшим в 1874 г. должность начальника Главного управления по делам печати, Достоевский будет советоваться по широкому кругу проблем: от цензурных вопросов издания «Гражданина» до вопросов, непосредственно касающихся научных интересов востоковеда, о чем свидетельствуют, например, следующие отметки в записной книжке за 1875 г.: «С В.В. Григорьевым поговорить: 1) о про-

винциальной печати и 2) о наших азиатских окраинах (будет ли справедлива мысль о китайцах?)» [1. Т. 27. С. 112].

Китайская тема «Вступления» не ограничивается аллюзией на императора Тунчжи. Фразой «нам, то есть мне и князю Мещерскому, в Китае было бы несравненно выгоднее, чем здесь, издавать “Гражданина”» [1. Т. 21. С. 5] Достоевский вышел за пределы литературно-публицистического приема «красного словца» и переместил центр тяжести всей первой публикации ДП от 1 января 1873 г. в сферу типологического различия западного и восточного, и именно это различие составляет основу первых двух эпизодов – «I. Вступление» и «II. Старые люди»: в первом эпизоде обыгрывается типология русского и восточного (на материале китайского мира и индийской притчи), во втором – типология русского и западного (на материале воспоминаний о Герцене и Белинском).

Китай и его социокультурные процессы Достоевскому были совсем не интересны: он не упоминает здесь ни реакцию китайского народа на опиумные войны, ни восстания тайпинов и дунган, ни наличие в Китае либерально настроенных государственных и культурных деятелей (Вэн Тунхэ, Вэнь Тинши, Ли Вэньтянь, Цзян Бяо, Хун Цзюнь, Тань Сытун, Линь Сюй, Тан Цайчан, Цзэн Пу и др.), какие-либо другие известные ему данные, свидетельствующие о сложностях развития реально существующего Китая. Кроме того, он мог бы более пристально взглянуть в противоречивую фигуру 17-летнего китайского императора, запомнившегося современникам как реформатор, инициировавший попытку вестернизации государственных институтов Цинской империи: вторая опиумная война явно продемонстрировала необходимость подобных перемен. Ничего этого во «Вступлении» нет.

Картина реформирующейся по западным образцам восточной деспотии, как свидетельствует текст ДП, совсем не то, что требовалось Достоевскому. Он опирается не на доступные ему востоковедческие данные, а на базовые концепты ориентализма, конструирующие воображаемое пространство мифопоэтического Китая. В этом варварском традиционалистском государстве коррупция и всевластная бюрократия выступают не язвами общества, а знаками могущества и крепости государственных и социальных институтов. Ни коим образом не уточняется, что для Китая этот порядок плох: в базовых представлениях ориентализма восточный человек не способен существовать вне традиционного уклада и тирании. Вспомним, чье творчество, по мысли Н.В. Гоголя, имело большое влияние на Достоевского, на воображаемом им арабском Востоке «правление без законов двигалось крепко и определленно» [14. Т. 8. С. 77], и именно внедрение европейского просвещения и европейских институтов послужило главной причиной упадка арабского халифата во время Ал-Мамуна [8. С. 113]. Также и в отношении Китая у Достоевского: засилье бюрократии, конечно, создает многочисленные трудности, однако «крепко и определленно» защищает общество от перемен и разрушения.

Восточная тирания, обоснованная многотысячелетней традицией, смысл и значимость которой в ДП никому не приходит в голову оспорить, держится исключительно на насилии и унижении. Население Востока в этой традиции жестко разделено на две группы, тяготеющие к разным полюсам: господа и рабы. Первые владывают и унижают без всякого злого умысла, потому

что так сложилось за тысячу лет и описано в двухстах томах церемоний, а вторые с удовольствием этому подчиняются. Концепт «не задумываться» при этом ключевой в описаниях Достоевского, поэтому унижение здесь не только естественное (ср. концепцию «естественного человека» у французских просветителей XVIII в.), но и вполне добровольное.

В черновых набросках, названных автором «Prospectus», первая фраза для «Вступления» – «полизать пол» и только после этого «Что такое Китай. Женитьба императора китайского» [1. Т. 21. С. 294]: являясь отправной точкой, унижение организует представление Достоевского о Китае, а через него – и журнальной деятельности в России. В разделе «Темы для Дневника литератора» Достоевский опять использует этот полюбившийся ему образ: «Китайщина, муравейник. Лизать пол, есть рис» [Там же. С. 296]. Черновые наброски помогают понять, что исходная мысль о Китае у Достоевского была несколько сложнее, чем получилось в итоге. Так, в тетрадках несколько раз появляется слово «скучно», в смысловом отношении связанное с понятиями «китайщина» и «наличие / отсутствие свободы»:

Скука! Что такое скука? Ощущение несвободы, неестественности [Там же. С. 294].

<...>

Скука и китайщина, дама и Мещерский... [Там же. С. 295].

На первый взгляд целенаправленно формируется подтекст, в котором образы Китая сближаются с либеральными идеями, однако дальнейшие записи это очевидным образом опровергают, декларируя безусловную ценность государственного порядка:

Никто ни о чем не задумывается, даже, может быть, и не думает, кроме как о деньгах. Я ничего против денег, а только против беспорядка. В сущности, у нас решительно тот же Китай, но только без всякого порядка, я потому так пленен Китаем, что читал статью о бракосочетании кит<айского> им<ператора>. Это прелестно [Там же. С. 295].

И далее:

Будь чем хочешь, лишь исполняй церемонии. Церемонии же в сущности есть результат тысячелетней протекшей жизни, результат реализма и опыта.

Будь чем хочешь, это твое дело, убийцей, мерзавц<ем>, нищим, фанатик<ом>, но исполняй церемонии. Церемонии же это та связь, по которой муравей<ник> распасться не может. Что выше этой свободы. О конечно, жи-вы *liberté* и *fraternité* [Там же. С. 295].

Черновые записи демонстрируют наличие в сознании Достоевского идеи, однозначно указывающей на то, что лозунги Великой французской революции, которыми руководствуются российские «бесы» (демократы, социалисты, нигилисты), – это очевидная опасность отечественным уложениям. Главная опасность, по мысли Достоевского, заключается не в том, что «убийцы, мерзавцы, нищие и фанатики» могут сделать, а в том, что они руководствуются

разрушительными идеями, в корне противоположными духовности и всечеловеческому единству. Образ муравейника в приведенной цитате – маркер системы представлений Достоевского о том, как и зачем должно быть связано российское общество (эти идеи проявлены в романе «Преступление и наказание», повести «Записки из подполья», цикле очерков-эссе «Зимние заметки о летних впечатлениях» и др. Подробнее об этом см.: [15, 16]). «Муравейник» в этой системе – общество западного типа, созданное разумом и расчетом, оно живет и развивается подобно природному механизму, объединившему мелких существ в толпу, не познавшую религиозных ценностей (бога, духовности, спасения, бессмертия, осознанной жертвенности и пр.)¹. В этом обществе «никто ни о чем не задумывается», все движимы природными инстинктами, высокие нравственные связи отсутствуют, и все потому, что каждый из этих существ по отдельности и все они вместе не обладают «правильной» верой в бога (русское православие vs западный католицизм vs восточное язычество). В этом контексте «китайский муравейник» мало отличается от европейских конструктов: вместо братства – церемониальная иерархия, вместо идеи спасения – идея механистического выживания. Восточная тема усиливает и усложняет концепты, ранее использованные Достоевским для критики западного мира и либерально-социалистических идей. «Китайщина» становится символом перевернутой системы ценностей, тысячи лет исправно укреплявшей восточное общество, но совершенно непригодной для России.

Кроме того, иронию и гиперболу в описании китайских «церемоний» можно воспринимать как стилистический прием, позволяющий уйти от прямого реакционного высказывания о необходимости и непреходящей ценности «результатов реализма и опыта». Благодаря гиперболическим описаниям китайской бюрократической системы монархически настроенный читатель «Гражданина» должен был извлечь одну несложную мысль: при всех проблемах цензурных запретов и необходимости кланяться всемогущим бюрократам перед выпуском каждого номера, в России все же лучше и свободнее издавать журналы, чем в варварском Китае, так как здесь не бьют по ногам бамбуковыми дощечками и нет необходимости буквально лизать пол. С точки зрения Достоевского, проблема не в отрицании свободы, а в ее рамках, не в отрицании развития, а в его сущности, не в прославлении диктатуры, а в

¹ В этом отношении интересна интерпретация идей Достоевского во второй памятной речи Вл. Соловьева, посвященной писателю в 1882 г.: «Мир не должен быть спасен насильно. Задача не в простом соединении всех частей человечества и всех дел человеческих в одно общее дело. Можно себе представить, что люди работают вместе над какой-нибудь великой задачей и к ней сводят и ей подчиняют все свои частные деятельности, но если эта задача им навязана, если она для них есть нечто роковое и неотступное, если они соединены слепым инстинктом или внешним принуждением, то, хотя бы такое единство распространилось на все человечество, это не будет истинным всечеловечеством, а только огромным «муравейником». Образчики таких муравейников были, мы знаем, в восточных деспотиях – в Китае, в Египте, в небольших размерах они были уже в новое время осуществляемы коммунистами в Северной Америке. Против такого муравейника со всею силой восставал Достоевский, видя в нем прямую противоположность своему общественному идеалу. Его идеал требует не только единения всех людей и всех дел человеческих, но главное – человеческого их единения. Дело не в единстве, а в свободном согласии на единство. Дело не в великости и важности общей задачи, а в добровольном ее призвании» [17. Т. 3. С. 203–204].

утверждении стабильного порядка, который все более обретал ценность после «нечаевского дела».

В этой связи необходимо отметить еще один важный аспект концепта «унижение», не позволивший Достоевскому однозначно осуждать «китайщину», как он делал это ранее в подготовительных материалах к роману «Преступление и наказание» (1865–1866) [1. Т. 7. С. 161]. Воображаемое унижение Достоевского и князя Мещерского в главном управлении по делам печати Китая – это реализация инициатического сюжета, свойственного мышлению Достоевского: обновление и развитие должно происходить через преодоление испытаний, через обязательное перенесение нравственных и физических страданий (евангельский мотив умершего зерна). Эти инициатические конструкты начали формироваться в сознании Достоевского еще в 1850-е гг., и ассоциативно связаны именно с азиатским пространством Сибири и Семипалатинска, где становление большого писателя происходило исключительно в ситуации унижения и умирания. Таким образом, если Достоевский всерьез решил, что редактирование «Гражданина» – это новый и важный этап его писательского роста, этап, на котором более четко будет осознана необходимость пророческого служения России и человечеству, унижение должно стать важнейшей составляющей процесса редакторской инициации.

Инициация как процесс перерождения и обретения нового статуса или власти через насилие прочно ассоциируется с практиками архаических обществ, в дискурсе ориентализма – с практиками восточных культур, описываемых по отношению к автору как архаичные. Поэтому сравнивая бракосочетание китайского императора со своим редакторским назначением, Достоевский выводит на первый план мифологические мотивы предопределения и обретения священной власти: как китайский император только после заключения брака получал верховную власть над подданными, так и писатель после посещения цензурного комитета обретал статус издателя. Достоевский комически обыгрывает метасюжет инициации: оба – и редактор и император – при этом получали священное право ни о чем не задумываться, поскольку после инициации удобно встраивались в вечный механизм империи. Ориенталистская ситуация, когда в Китае и в России «никто не задумывается», явно выводит описание Китая из плоскости ориентализации (отстраненного изобретения Востока) в ситуацию самоориентализации (придания восточных черт собственному народу в целях самокритики):

Мы оба предстали бы в назначенный день в тамошнее главное управление по делам печати. Стукнувшись лбами об пол и полизав пол языком, мы бы встали и подняли наши указательные персты перед собою, почтительно склонив головы. Главноуправляющий по делам печати, конечно, сделал бы вид, что не обращает на нас ни малейшего внимания, как на влетевших мух. Но встал бы третий помощник третьего его секретаря и, держа в руках диплом о моем назначении в редакторы, произнес бы нам внушительным, но ласковым голосом определенное церемониями наставление. Оно было бы так ясно и так понятно, что обоим нам было бы невероятно приятно слушать. На случай, если б я в Китае был так глуп и чист сердцем, что, приступая к редакторству и сознавая слабость моих способностей, ощутил бы в себе страх и

угрызение совести, – мне бы тотчас же было доказано, что я вдвое глуп, питая такие чувства. Что именно с этого момента мне вовсе не надо ума, если бы даже и был; напротив того, несравненно благонадежнее, если его нет вовсе. И уж, без сомнения, это было бы весьма приятно выслушать. Заклучив прекрасными словами: «Иди, редактор, отныне ты можешь есть рис и пить чай с новым спокойствием твоей совести», третий помощник третьего секретаря вручил бы мне красивый диплом, напечатанный на красном атласе золотыми литерами, князь Мещерский дал бы полную взятку, и оба мы, возвращаясь домой, тотчас же бы издали великолепнейший № «Гражданина», такой, какого здесь никогда не издадим. В Китае мы бы издавали отлично [1. Т. 21. С. 5–6].

Свобода от совести и от ума – часть образа редактора, в структуре которого наличествует не только идейно-художественный, но и экономический компонент. Зная плачевное финансовое положение «Гражданина», Достоевский между строк утверждает, что понимает этот щекотливый вопрос: выгода с момента инициации соотносится не только с интересами империи и ответственности, но и с интересами кармана издателя, что влечет за собой неминуемый в будущем конфликт интересов. Воображая, что в варварском Китае этой проблемы просто не существует, Достоевский выстраивает еще один сюжет самоориентализации – противопоставление российского и китайского, формируя сложное целое «отторжения-согласия» по отношению к образу Китая. Это сложное целое держится на нескольких лаконичных, ироничных и в то же время вполне серьезных высказываниях, разбросанных между детальными описаниями поведения в воображаемом пространстве Китая, о некотором превосходстве китайского общественного устройства над российским. Воображаемый Китай стабилен и потому не требует революционной и умственной активности в гражданской сфере. Поэтому Достоевский формулирует самоориентализацию как «вестернизацию наоборот» – если вместо слова «Китай» поставить слово «Европа», получатся типичные умозаключения западников:

<...> В Китае было бы несравненно выгоднее, чем здесь, издавать «Гражданина» [Там же. С. 5].

<...> В Китае мы бы издавали отлично [Там же. С. 6].

<...> В Китае я бы отлично писал; здесь это гораздо труднее. Там всё предусмотрено и всё рассчитано на тысячу лет; здесь же всё вверх дном на тысячу лет [Там же].

<...> Пожалуй, мы тот же Китай, но только без его порядка. Мы едва лишь начинаем то, что в Китае уже оканчивается. Несомненно придем к тому же концу, но когда? Чтобы принять тысячу томов церемоний, с тем чтобы уже окончательно выиграть право ни о чем не задумываться, – нам надо прожить по крайней мере еще тысячелетие задумчивости. И что же – никто не хочет ускорить срок, потому что никто не хочет задумываться [Там же. С. 7].

Ирония или даже сарказм по отношению к западнической мифологеме «догоняющей России» не позволяют говорить об отрицательном образе Китая, сформированном во «Вступлении» к ДП. Этот образ – сложный полеми-

ческий конструкт, который не доказывает одну определенную мысль, а провозирует читателя на типологические цивилизационные сопоставления и, таким образом, – на размышления о судьбах России. В этом его главная идеологическая и композиционная функция.

Дискурс русского ориентализма, в котором восточные образы позволяют наметить прямой выход к вопросам национального самоопределения через обсуждение «азиатчины» или «китайщины», тяготеет к созданию широкой сети интертекстуальных связей и в конечном итоге к формированию сверхтекста – восточного текста русской литературы [8. С. 5]. Эта особенность собирательного русского образа Востока связана с тем, что русская словесность XVIII–XIX вв. включила Восток в круг наиболее важных тем и сюжетов: величие и место России и русского человека в мире, личная свобода и свобода творчества от любой тирании, сущность и назначение искусства, поиски смысла жизни и др. Обращение к этим острым темам предполагает кроме всего прочего прямые или косвенные отсылки к претекстам, поскольку эта сфера имеет принципиально диалогическую структуру.

В этой связи интересно отметить, что китайские образы «Вступления» – это способ построения узнаваемой жанрово-тематической реминисценции на рассказ «Записки сумасшедшего» (1834) Н.В. Гоголя¹. Фантастический рассказ Гоголя от первого лица о том, как титулярный советник Поприщин сошел с ума, съедаемый маниакальной идеей поиска своего места в мире, не имел прецедента не только в творчестве Гоголя, но и во всей русской словесности. Фактической основой такого сравнения служат многочисленные упоминания столь важного для Достоевского имени Гоголя, рассыпанные по тексту ДП. Кроме того, имя Поприщина дважды открыто упоминается в ДП за 1873 г. в главе XI «Мечты и грезы», где обсуждается русское пьянство, имеющее размеры, способные потрясти разум:

Мечтал же Поприщин («Записки сумасшедшего» Гоголя) об испанских делах: «...все эти события меня так убили и потрясли, что я...» и т. д., писал он сорок лет назад. Я признаюсь, что и меня иногда многое потрясает, и, право, я даже в унынии от моих мечтаний. Я на днях мечтал, например, о положении России как великой европейской державы, и уж чего-чего не пришлось мне в голову на эту грустную тему! [1. Т. 21. С. 91]

<...>

Мечта скверная, мечта ужасная, и – слава богу, что это только лишь сон! Сон титулярного советника Поприщина, я с этим согласен [Там же. С. 95].

При исследовании первой январской публикации ДП в 1873 г. важно отметить фактическое соответствие первой части «Вступления» главам «Записок сумасшедшего», где персонаж, подобно Достоевскому, осмелился поста-

¹ Необходимо отметить, что первая такого рода жанрово-тематическая переключка с гоголевскими «Записками сумасшедшего» – это, конечно, «Записки из подполья» (1864), а «Дневник писателя» больше соотносится с «Выбранными местами из переписки из друзьями» (1846–1847). Компаративный анализ этих произведений дает глубокое представление о «гоголевском тексте» у Достоевского, однако необходимость реконструкции китайской темы в рамках небольшой статьи требует обратить более пристальное внимание на воображаемое путешествие Поприщина как один из важнейших источников китайской темы «Вступления» в «Дневник писателя» за 1873 г.

вить свою персону в ряд важнейших газетных новостей. В главе «Декабря 5» Поприщин пишет:

Я сегодня все утро читал газеты. Странные дела делаются в Испании. Я даже не мог хорошенько разобрать их. Пишут, что престол упразднен и что чины находятся в затруднительном положении о избрании наследника и оттого происходят возмущения [14. Т. 3. С. 206].

Главный мотив, связывающий ДП и «Записки сумасшедшего» – это мотив мечты о величии маленького человека, осознавшего себя в большом историческом контексте западно-восточной дихотомии. Идеологической основой такой мечты является представление о мессианской роли России в мире: если Россия играет особую роль, об этом вполне может мечтать и отдельно взятый русский человек. Пафос иронии Гоголя и Достоевского определяет, что безосновательное всемирное величие достижимо только в мечтах помраченного сознания, тогда как настоящее величие напрямую связано со способностью здраво определять свое место. Редактор во вступлении к ДП демонстративно теряет такую способность сразу после известия о своем назначении, и только посещение китайской бюрократической машины помогает ему самоопределиться. Испанские новости совершенно выбивают почву из-под ног титулярного советника, так что на следующий день вместо того, чтобы как обычно бежать на работу в департамент, маленький человек начинает чудить:

<...> разные причины и размышления меня удержали. У меня все не могли выйти из головы испанские дела. Как же может это быть, чтобы донна сделалась королевою? Не позволят этого. И, во-первых, Англия не позволит. Да притом и дела политические всей Европы: австрийский император, наш государь... Признаюсь, эти происшествия так меня убили и потрясли, что я решительно ничем не мог заняться во весь день. Мавра замечала мне, что я за столом был чрезвычайно развлечен. И точно, я две тарелки, кажется, в рассеянности бросил на пол, которые тут же расшиблись. После обеда ходил под горы. Ничего поучительного не мог извлечь. Большею частию лежал на кровати и рассуждал о делах Испании [Там же. С. 207].

«20 декабря» – это начало первого предложения ДП Достоевского, после которого сразу же теряется связь с реальностью и автор переносит читателя в воображаемый мир Китая. «Декабря 8» – это был последний день, когда Поприщин датировал свою запись реальным числом. Рассуждения об испанских проблемах престолонаследия пошатнули остатки разума, и уже на следующий день, обозначенный как «Год 2000 апреля 43 числа», мелкий государственный чиновник, исполненный важности своего существования, высокопарно объявляет:

Сегодняшний день – есть день величайшего торжества! В Испании есть король. Он отыскался. Этот король я [Там же].

И далее, «тридцатого февраля», Поприщин переносится в Мадрид, где происходит эпизод, структурно соответствующий эпизоду посещения глав-

ного китайского управления по делам печати у Достоевского. В этой сцене фигурируют большой начальник, многочисленные служащие, упоминаются насильственные действия высокопоставленного чиновника и главное – совершается обряд инициации:

Мне показалось чрезвычайно странным обхождение государственного канцлера, который вел меня за руку; он толкнул меня в небольшую комнату и сказал: «Сиди тут, и если ты будешь называть себя королем Фердинандом, то я из тебя выбью эту охоту». Но я, зная, что это было больше ничего кроме искушения, отвечал отрицательно, – за что канцлер ударил меня два раза палкою по спине так больно, что я чуть было не вскрикнул, но удержался, вспомнивши, что это рыцарский обычай при вступлении в высокое звание, потому что в Испании еще и доньне ведутся рыцарские обычаи [14. Т. 3. С. 211].

Достоевский описывает, что готов так же покорно сносить удары бамбуковыми дощечками по пяткам, как и Порицин удары палкой по спине, поскольку в итоге подобного унижения – вступление в «высокое звание». После инициации Поприцин решает заняться государственными делами и внезапно его осеняет гениальная мысль, которую можно считать отправной точкой рассуждений Достоевского о том, что «Китай – это та же Россия»:

Я открыл, что Китай и Испания совершенно одна и та же земля, и только по невежеству считают их за разные государства. Я советую всем нарочно написать на бумаге Испания, то и выйдет Китай [Там же. С. 211–212].

Для чего Достоевскому понадобилась такая явная переключка с гоголевским текстом? С одной стороны, Достоевский упорно полемизирует с грубыми заявлениями критики о содержании романа «Бесы», который совсем недавно в «Биржевых ведомостях» неким М.Н. был объявлен галлюцинациями Поприцина [1. Т. 21. С. 409], а с другой стороны, предупреждает подобные отзывы о «странности» и «болезненности» своей затее с публичным дневником. Как мы помним, это упреждение было совсем не лишним, поскольку вскоре после выхода первого номера «Гражданина» последовала рецензия Л.К. Панютина (псевдоним – Нил Адмирари), в которой необычная рубрика Достоевского, начатая «в восточном духе», обязательно соотнеслась, хоть и с фактическими ошибками (у Гоголя – «дея», а не «бeya»), с безумным персонажем Гоголя:

«Дневник писателя» <...> напоминает известные записки, оканчивающиеся восклицанием: «А все-таки у алжирского бeya на носу шишка!» Довольно взглянуть на портрет автора «Дневника писателя», выставленный в настоящее время в Академии художеств, чтобы почувствовать к г-ну Достоевскому ту самую «жалостливость», над которою он так некстати глумится в своем журнале. Это портрет человека, истомленного тяжким недугом [Там же. С. 402].

Панютин, таким образом, как бы говорит: Достоевский начал с того, чем кончил Поприщин. Причем в обоих случаях одним из маркеров явного сумасшествия являются глубокомысленные суждения о Европе и Востоке в перспективе большой политики. Шишка под носом алжирского дея и дела Испании явно коррелируют с бракосочетанием императора Тунчжи и назначением нового редактора «Гражданина»: в обоих случаях повествователь комически сопоставляет свое частное существование с «важными» событиями мира, вообразимо разделенного на Запад и Восток.

На первый взгляд может показаться, что Панютин оказался прав, и Достоевский в дальнейшем прямо следует путем гоголевского безумца: фантастический рассказ «Бобок», начатый во второй половине января 1873 г., также структурно напоминает «Записки сумасшедшего» [1. Т. 21. С. 403], как и «Вступление» к дневнику писателя. Кроме того, как имперское, так и фантастическое начало ДП со временем будут только усиливаться (суждения о еврейском и восточном вопросах, об эмансипации и религии, о пороках и всемирном значении русского народа, публикация вставных фантастических новелл «Кроткая», «Сон смешного человека»). Однако не стоит забывать, что Достоевский вполне открыто обыгрывал ситуацию самовозвеличивания, располагая ее в плоскости безумия, а значит, это можно воспринимать как вариант осмысленной, сложнейшей и во многом противоречивой ориенталистской самокритики: в споре западников и славянофилов Достоевский был верен своим представлениям об «особом русском пути» преодоления не только соблазнов Запада, но и дремучей «китайщины».

Литература

1. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука, 1972–1990.
2. Захарова О.В. Спор с Достоевским о «Бесах»: проблема непонимания романа в прижизненной критике // Проблемы исторической поэтики. 2012. № 10. С. 143–162.
3. Прохоров Г.С. О композиции «Дневника писателя» Ф.М. Достоевского // Вестн. Челяб. гос. ун-та. 2013. № 14 (305). С. 58–60.
4. Фридендер Г.М. Реализм Достоевского. М.; Л.: Наука, 1964. 404 с.
5. Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. М.: Языки славянской культуры, 1997–2012.
6. Алексеев П.В. Достоевский и Китай: к постановке имагологической проблемы // Диалог культур: поэтика локального текста: материалы V Междунар. науч. конф., Горно-Алтайск, 26–29 сентября 2016 г. / под ред. П.В. Алексеева: в 2 т. Т. 1. Горно-Алтайск, 2016. С. 38–52.
7. Лукин А.В. Медведь наблюдает за драконом: Образ Китая в России в XVII–XXI веках. М.: Восток – Запад: АСТ, 2007. 598 с.
8. Алексеев П.В. Концептосфера ориентального дискурса в русской литературе первой половины XIX в.: от А.С. Пушкина к Ф.М. Достоевскому. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2015. 348 с.
9. Дацышен В.Г. История русско-китайских отношений в конце XIX – начале XX вв. Красноярск: Изд-во Краснояр. гос. пед. ун-та, 2000. 285 с.
10. Нарочницкий А.Л. Колониальная политика капиталистических держав на Дальнем Востоке 1860–1896. М.: Изд-во АН СССР, 1956. 899 с.
11. Сладковский М.И. Отношения между Россией и Китаем в середине XIX века // Новая и новейшая история. 1975. № 3. С. 55–64.
12. Сунь Чжунцин. Русская публицистика о проблемах внешней политики России в отношении Китая: конец XIX – начало XX вв.: дис. ... канд. ист. наук. М., 2004. 246 с.
13. L'homme qui rit [Минаев Д. Д.]. Невинные заметки // Дело. 1871. № 11. Ноябрь. С. 54–75.
14. Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений: в 14 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1952.

15. Илатова С.А. «Муравейник» в социальной прогностике Платонова и Достоевского // Творчество Андрея Платонова. Кн. 4. СПб., 2008. С. 22–38.

16. Зохран И. «Европейские гипотезы» и «русские аксиомы»: Достоевский и Джон Стюарт Милль // Русская литература. 2000. № 3. С. 37–52.

17. Соловьев В.С. Собрание сочинений: в 10 т. 2-е изд. СПб.: Книгоиздательское товарищество «Просвещение», 1912.

CHINESE INTRODUCTION TO *A WRITER'S DIARY* BY FYODOR DOSTOEVSKY

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 49. 98–112. DOI: 10.17223/19986645/49/7

Pavel V. Alekseev, Gorno-Altai State University (Gorno-Altai, Russian Federation).

E-mail: conceptia@mail.ru

Keywords: Dostoevsky, *A Writer's Diary*, China, Russian Orientalism, Imperial discourse, Gogol, “The Diary of a Madman”.

This article focuses on the imagological study of the Chinese theme in the Introduction to Dostoevsky's *A Writer's Diary* in 1873. To date, the problem “Dostoevsky and China” and, in particular, the Chinese motives in *A Writer's Diary* has never been a subject of a comprehensive study. The original idea of the article is that the Chinese theme of “Introduction” is not a random case of operating with Oriental images and stories (the Emperor of China, the Chinese bureaucracy, Chinese execution, etc.), but a logical manifestation of Orientalism and its mythopoetic structures. The term Russian Orientalism refers to a type of creative thinking that occurred in the context of Western Europe and Russia's Imperial and colonial practices and based on a specific philosophical-poetic view of the world, virtually divided into Russia, the West and the Orient.

The article explains why the image of China (but not other Oriental countries) served as the most convenient literary-journalistic technique of conversation about creativity, journalism and the level of reading and civic identity in the Russian Empire in the early 1870s. It also analyzes the reasons for the appeal of Dostoevsky not to the special data about the actual Qing Empire, in fact, a semi-colonial country on the brink of collapse after the opium wars and ethnic uprisings, but to the imaginary China of Russian Orientalism, the centuries-old Empire that nothing bad can happen with.

The concepts of Orient, Oriental people, despotism, humiliation, depersonalization (“anthill”), united by the system of Russian Orientalism, determine not only the intention of “superiority” in relation to a variety of non-European cultures, but the basic orientations of cultural identity. The language of Orientalism referring to the Chinese theme gave Dostoevsky the necessary opportunities for the formulation of the problems of Russian identity: the writer creates an ambivalent image of the bureaucratic China, at the same time juxtaposed with the image of Russia and opposed to it (problematic complex of Orientalization and self-Orientalization). In connection with the problem of humiliation and violence the article discusses the concept of initiatic narrative: Dostoevsky comically plays with the metaplot of the initiation of the editor, but at the same time seriously believes that the renewal and development of the individual must be through overcoming challenges, through mandatory transfer of moral and physical suffering (the Evangelical motif of the deceased grain).

For the first time in the framework of the Russian Orientalism theory, the Chinese images of “Introduction” are considered in the intertextual connection with N. Gogol's “The Diary of a Madman” (1834): the article studies the genre-thematic, stylistic and conceptual relationship between these two texts.

References

1. Dostoevskiy, F.M. (1972–1990) *Polnoe sobranie sochineniy. V 30 t.* [Complete works. In 30 vols]. Leningrad: Nauka.

2. Zakharova, O.V. (2012) Polemic with Dostoevsky on “Demons”: the problem of misunderstanding of the novel in the lifetime criticism (1871–1873). *Problemy istoricheskoy poetiki – The Problems of Historical Poetics*. 10. pp. 143–162. (In Russian).

3. Prokhorov, G.S. (2013) The Composition of the Diary of a Writer by F. M. Dostoevsky. Preliminary Report. *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta – Bulletin of Chelyabinsk State University*. 14 (305). pp. 58–60. (In Russian).

4. Fridlender, G.M. (1964) *Realizm Dostoevskogo* [The realism of Dostoevsky]. Moscow; Leningrad: Nauka.
5. Bakhtin, M.M. (1997–2012) *Sobranie sochineniy. V 7 t.* [Works: in 7 vols]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
6. Alekseev, P.V. (2016) [Dostoevsky and China: to the formulation of the imagological problem]. *Dialog kul'tur: poetika lokal'nogo teksta* [Dialogue of cultures: poetics of the local text]. Proceedings of the V international conference. Gorno-Altaysk. 26–29 September 2016. In 2 vols. Vol. 1. Gorno-Altaysk: Gorno-Altaysk State University. pp. 38–52.
7. Lukin, A.V. (2007) *Medved' nablyudaet za drakonom. Obraz Kitaya v Rossii v XVII–XXI vekakh* [The bear is watching the dragon. The image of China in Russia in the 17th–21st centuries]. Moscow: Vostok-Zapad: AST.
8. Alekseev, P.V. (2015) *Kontseptosfera oriental'nogo diskursa v russkoy literature pervoy poloviny XIX v.: ot A.S. Pushkina k F.M. Dostoevskomu* [The conceptual sphere of oriental discourse in the Russian literature of the first half of the 19th century: from A.S. Pushkin to F.M. Dostoevsky]. Tomsk: Tomsk State University.
9. Datsyshen, V.G. (2000) *Istoriya rusско-kitayskikh otnosheniy v kontse XIX – nachale XX vv.* [The history of Russian-Chinese relations in the late 19th – early 20th centuries]. Krasnoyarsk: Krasnoyarsk State Pedagogical University.
10. Narochnitskiy, A.L. (1956) *Kolonial'naya politika kapitalisticheskikh derzhav na Dal'nem Vostoke 1860–1896* [Colonial policy of the capitalist powers in the Far East in 1860–1896]. Moscow: USSR AS.
11. Sladkovskiy, M.I. (1975) *Otnosheniya mezhdru Rossiei i Kitaem v seredine XIX veka* [Relations between Russia and China in the middle of the 19th century]. *Novaya i noveyshaya istoriya*. 3. pp. 55–64.
12. Sun Zhijing. (2004) *Russkaya publitsistika o problemakh vneshney politiki Rossii v otnoshenii Kitaya: konets XIX – nachalo XX vv.* [Russian journalism about the problems of Russia's foreign policy towards China: the end of the 19th – early 20th centuries]. History Cand. Diss. Moscow.
13. L'homme qui rit [Minaev, D.D.]. (1871) *Nevinnnye zametki* [Innocent notes]. *Delo*. 11. pp. 54–75.
14. Gogol, N.V. (1937–1952) *Polnoe sobranie sochineniy. V 14 t.* [Complete works: in 14 vols]. Moscow; Leningrad: USSR AS.
15. Ipatova, S.A. (2008) “Muraveynik” v sotsial'noy prognostike Platonova i Dostoevskogo [“Muraveynik” in the social prognostics of Platonov and Dostoevsky]. In: Kolesnikova, E.I. (ed.) *Tvorchestvo Andrey a Platonova* [Works of Andrey Platonov]. Vol. 4. St. Petersburg: Nauka.
16. Zokhrab, I. (2000) “Evropeyskie gipotezy” i “russkie aksiomy”: Dostoevskiy i Dzhon Styuart Mill' [“European hypotheses” and “Russian axioms”: Dostoevsky and John Stuart Mill]. *Russkaya literatura*. 3. pp. 37–52.
17. Solov'ev, V.S. (1912) *Sobranie sochineniy. V 10 t.* [Works: in 10 vols]. 2nd ed. St. Petersburg: Knigoizdatel'skoe tovarishchestvo “Prosveshchenie”.